

Б И Б Л И О Т Е К А

ОГОНЁК

№ 2

1971



Алексей ПАНТИЕЛЕВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«П Р А В Д А»
М О С К В А

ПЕРЕЙТИ ИРТЫШ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 2

Алексей ПАНТИЕЛЕВ

ПЕРЕЙТИ ИРТЫШ

ПОВЕСТЬ

Издательство «ПРАВДА»
Москва, 1971

Алексей ПАНТИЕЛЕВ

Алексей Наумович Пантиелев родился в гор. Орле, детство прожил в лесной деревеньке Алтухово.

В начале тридцатых годов работал чертежником в ЦАГИ в Москве, на котором работал и его отец, знатный рабочий-токарь, делегат Первого всесоюзного слета стахановцев.

С 1938 года до конца Великой Отечественной войны служил в армии — сперва на действительной службе, потом в Главном политическом управлении, учился в Московском Краснознаменном пехотном училище имени Верховного Совета РСФСР, а с января 1943-го до победы был в Действующей армии, на Ленинградском и Прибалтийских фронтах, вначале строевым командиром, а затем политработником. Участвовал в боях, ранен в бою под Синявино. Награжден двумя орденами и пятью медалями СССР.

После войны, в 1949 году, была опубликована повесть Алексея Пантиелева «Первая неделя», в 1956 году — роман «Поток», в 1966 году — повести «Студеное утро» и «Гвардия», а в 1968 году — роман «Белая птица».

Алексей Пантиелев много переводит с казахского и узбекского языков; перевел шесть романов и повестей Мухтара Ауэзова и Аскада Мухтара. За эту работу награжден почетными грамотами Верховных Советов Казахстана и Узбекистана.

ПОСВЯЩАЕТСЯ З. К.

На рассвете, в утренних сумерках, когда землю охватывает истома пробуждения, снятся памятные сны. Они обрываются перед развязкой, накануне некоего откровения, и хочется опять уснуть и досмотреть, что же было бы дальше. Они похожи на прерванное гадание, смутное и заманчивое предвидение. Обычно случившееся во сне забывается мгновенно, но в душе остается ощущение загадки, невнятного обещания, как будто в чем-то очень важном тебя обнадежили, навели на неясный след.

Тишина. Распахнуты окна. Распахнуто небо. Ты стоишь в полумраке, в полузабытии недопетого, недоигранного сна и растерянно смотришь в небо и себе в душу. Медленно тает на твоей шее, на висках сонное тепло, сонное оцепенение, ты зябнешь на утреннем холодке, но боишься пошевелиться, чтобы не погасить нечто в своей памяти. Что же это было такое необыкновенное, недостигаемо-желанное и вместе с тем натуральное, земное, осязаемое, как утренний свет?

Проходят годы, а ты возвращаешься к тем снам. Тебе не дано их забыть. Ты не хочешь их забыть. Ты ищешь и оживляешь в своей душе ощущение загадки, туманного следа, недосказанного предсказания.

А когда случается проснуться на утренней заре, ты поднимаешься второпях, бежишь и с жадностью смотришь вверх, на восток туда, где небо зацветает зелеными, синими и красными цветами. Смотришь и смотришь, словно боясь упустить много раз смотренное и невиданное.

1

Ночевать под шапкой

Давно это было. Далеко это было. И правда ли было? Есть у великой сибирской реки Иртыш приток Ульба, шальная речка, вьющаяся меж таежных хребтов Алтая. Название ее происходит, видимо, от старинного глагола «ульнуть», что значит дать стрелача. Ульба не течет — скачет среди скал,

по горбатым порогам и топчет, подобно косяку необъезженных коней.

Поздней осенью, после покрова пресвятыя богородицы, плыла девушка осьмнадцати лет на плоскодонном дощанике из горного кержацкого села в Усть-Каменогорск вниз по Ульбе. Дощаник был черен от смолы, тяжел, как плот, но казался утл, как допотопный, долбленный из цельного ствола челнок, потому что неся по бесовской стремнине, замешенной из воды и камня.

Иртыш уже встал, по нему нарезался санный путь, а Ульба все редела, несла без оглядки. На корме у трехпудового просмоленного и ободранного кормила, похожего на весло-натесь с большой баржи, стоял мужик с продубленными скулами, окладной бородой и ворочал им, ложась на него грудью, крикая от натуги. На носу маячили двое помоложе и упирались длинными шестами в пролетавшие мимо, покрытые кружевом пены, скользкие камни с такой силой, что шесты гнулись.

На всех троих были армяки, домотканые, бурые, но с кумачовыми нашивками на груди, как у петровских стрельцов и первых красноармейцев; подпоясаны цветастыми кушаками. На ногах мягкие сыромятные постолы, на головах войлочные шапки горшками, надвинуты до бровей; под бровями у двоих — капли соляные, жгучие, у третьего — брызги из Ульбы, лихо-озорные.

Крупные, в кленовый лист, хлопья сырого снега летели навстречу, залепляя носы, уши. Ветра не было, но дощаник неся под уклон, точно сквозь метель, и за снежными хвостами не видно было берегов и дебревого леса, сползавшего сплошной мохнатой стеной до самой воды. То и дело дощаник противно скреб днищем по незримому подводному порогу, дергался, трясся, запинаясь, как живой, и норовил круто завернуть кормой, черпнуть низким бортом. Кормщик удерживал его носом вперед, меж сизых струй, крутых и твердых.

Девушка сидела у ног кормщика, цепко держась за опруженные ребра дощаника, укрытая с головой дырявым рядном, промокшая до костей. Время от времени она дробно стучала зубами, утирала нос о коленку и неслышно скулила, но не со страха. Она не боялась утонуть, хотя мужики искусно ее стращали, а только хотела обсушиться, угреться и того ради согласилась бы ополовинить стакан самогонки.

Девушка была учительшей, к тому же нездешней, городской. Но дело ей было задано в тех заброшенных старообрядных краях не женское и не школьное.

Впервые она приехала на Алтай прошлой зимой, в памятный год двадцать девятый, год «головокружения».

От Семипалатинска до Усть-Каменогорска по прежней мере верст двести. О железной дороге в ту пору не мечтали. Строили Турксиб и тем гордились. К устью Ульбы ездили гужом, по старому торговому тракту. Этот тракт начинался далеко на севере, у Омска, и вел далеко на юго-восток, в Монголию и Сындызян.

В конце декабря, в морозный день, девушка собралась и отправилась из Семипалатинска к Ульбе с большим обозом одна. Сборы ее были недолги; жизнь проста, если все, что ты имеешь, на тебе. Были на ней бриджи полувоенного образца, изпод юнгштурмовки, подпоясанные мужским ремнем. Бриджи заправлены в аккуратные сапожки на высоком каблучке, в которых летом на сухой полянке сплясать не пыльно. Надела она и гимнастерку с карманами, вдобавок фуфайку, или, по-ученому, свитер, правда, шерстяной, с рукавами. На голове платок белый, бабий, шея им укутана. Ну и поверх всего пальто кожаное, коричневое, важное, форсистое, с гладким простроченным воротом, подбитое тем самым мехом, которым славятся рыбы. В Семипалатинск эти пальто привозили из Монголии после того, как поставили к стенке барона-кровопийцу Унгерна; чекисты помоложе коротили их себе на куртки.

С жиденьким рюкзачком за плечами девушка появилась перед обозом, как ей было велено, на рассвете. Возчики в собачьих треухах, меховых рукавицах, тулупах и пимах смотрели на нее, как на диво. В рюкзаке у нее, кроме платочков-утирок, запасной рубашечки да единственной юбки, тоже ничего доброго не имелось. Зато в кармане гимнастерки лежал комсомольский билет и две серьезные бумажки — командировка от Кустпромсоюза и мандат Облземотдела с печатью на двух языках, русском и казахском, за подписью самого товарища Витюгова — из обкома.

Стужа стояла лютая. На телеграфных столбах индевели цифры, выведенные черной краской; пушистой белой коркой покрылись провода. У лошадей седели морды и животы в паху. Но за всю дорогу по голой степи ни один из мужиков не уступил девушке тулупа. Укрывали ее армяками и веретьем, тем же, что груз. Еще курить давали, сворачивали ей махорочные сигарки, и она брала, коптила себе нос, пуская дым из ноздрей, не затягиваясь, чтобы пореже оттирать щеки снегом.

Едва ли не половину пути она пробежала за санями, не снимая рюкзака, — под ним не так зябко спине. Пробежала и проплакала: глаза слезились. Бежала она до пота, иначе не разгонишь в жилах кровь, рук и ног не разогнешь, а когда доби-

ралась до привала, ее седой свитер скрипел, подобно кольчуге. Благо, что было безветренно, тихо...

Как она не застудилась тогда насмерть, не добежав до Усть-Каменогорска, ведомо одному богу, отменному большевиками. В армии, бывает, люди спят на снегу, часто мокрым, и не студятся. Девушка в том памятном году тоже почитала себя в армии. Она и была мобилизованная.

Ночевали в некогда богатых селах, на древних постоянных дворах, рассчитанных на купца, в просторных двухъярусных избах, срубленных навек, натопленных по-банному, с широкой лестницей снаружи. Ныне эти села жили бедней: разорила и гражданская и перегибы. Однако чаю было вдосталь, был и хлеб просяной; свежий он вкусен, а подсохнув, крошился и сыпался, как известка. Из того же теста готовили и пироги с калиной взамен сахара; калина, когда ее томили и парили, воняла одуряюще. Яблочка, то есть картошки, и молока за деньги не проси.

За чаем возчики объясняли девушке, что она, конешным делом, городская, стало быть, набалованная, непривычная к нашей погодке. У нас ведь как? Семь погод на дворе: сеет, веет, крутит, мутит, сверху льет, понизу метет, саван шьет... Лежа на нарах-полотях, кто-нибудь, кряхтя, непременно вспоминал, что у ихнего брата доля — ночевать под шапкой, понимай — под открытым небом.

Девушка знала, что у возчиков есть и сольце, и лук, и хлеб другой, эти харчи от нее прятали, точно зерно от продрозверстки. Леший ее знает, кто она такая — в штанах-то... Доставали мужики и самогон и капусту квашеную; капусту, как овес в торбе у лошади, не скроешь: хрустит. Но девушка незлобиво смеялась про себя, слушающая в ночной темноте кряканье и дружный хруст. Она была смешлива.

Сразу после чая она залезала на печь, на лежанку, согнав оттуда деда, если таковой имелся, и раздевалась до рубашки, чтобы просушиться и прогреть душу на день. Развешивала бриджи и фуфайку перед собой. Засветло обоз трогался. И ни разу она не проспала.

В первую же ночь к ней сунулся было смеха ради один добрый молодец, писанный красавец, и скатился назад с собачьим воем, повалился на пол, скрежеща зубами. Босая, накиннув на плечи пальтишко, соскочила следом и девушка, молчком схватила кнут и окрестила им охальника справа и слева. На нарах никто не пошевелился. В дороге чего не насмотришься!

Днем, понукая лошадей, возчики упорно втолковывали девушке, зачем собран обоз — в десяток возов, целый поезд. Од-

но дело — волки, серые головорезы. Они сейчас ходят сворами. Другое дело — людишки, беглые. И те бродят шайками, шалят. Конечно, для власти они бандиты, а разобраться — истые горемыки, сорванные с родных мест, гонимые, как палый лист. Может, они и рады бы угомониться, кабы по закону! Но ведь вот ездят взад-вперед разные уполномоченные с мандатами, пугают, путают народ. Лихо — оно по стремю плывет, погодой к берегу прибывает... И получалось так, что бандиты опасны не для обозников, их коней и груза, а для девушки, поскольку она, знамо дело, с мандатом.

Однако всерьез девушка испугалась один раз, когда отстала от обоза. Около полудня задержалась она на минутку у могильного камня неподалеку от дороги. Надписи не разобрала. Камень был облит замерзшими желтыми струйками — здесь останавливались волки. Обоз ушел вперед шагов на двадцать. Девушка побегала за ним, но обоз незаметно отделился от нее шагов на пятьдесят. Возчики сидели к ней спиной. Девушка протяжно крикнула, ни один не обернулся...

Больше она не кричала. Долго шла и бежала за обозом, в сотне шагов от него, и расстояние это не сокращалось и не увеличивалось. Возчики словно росли в возы, подняв ворота тулупов. Девушка слышала голоса, мужики крикливо переговаривались, но не оглядывались.

Кругом плоская, унылая пустыня, снега и снега. Солнце висело невысоко в белесой морозной дымке. В висках гулко стучала кровь.

Девушка остановилась, чтобы отдышаться, прикрывая краем головного платка рот. Обоз медленно уходил от нее.

Потом собака, кудлатая пастушья овчарка, отстала, залаяла и трусцой побегала к девушке. Обнюхала ее сапоги и поплевалась рядом, озираясь, потягивая черным носом и глухо ворча. Пес чуял близости волков.

Обоз остановился... Девушку встретили веселым гамом:

— Ты что же не шумнула? Кабы не Султанка, мы бы и не чухнулись! А там отвечай за тебя...

Она сказала, устало вздохнув:

— Я нарочно, сама. Уж больно вы мне надоели, болезные.

Бандитов в пути не встретили, а волков довелось посмотреть. На исходе мутного, пасмурного дня издали увидели летящую навстречу во весь мах, гончей сланью, лошадь, запряженную в розвальни. Возчики сразу смекнули, к чему такая прыть, и подняли пронзительный, сотрясающий душу свист.

Такого былинного посвиста девушка прежде не слыживала. Эхо залило степь, как полая вода.

Лошадь в мыле, брызжа пеной, подскочила к обозу, взгромоздилась на дыбки, раскатывая розвальни по жесткому насту, мотая ими, точно сорока хвостом, и стала тыкаться мордой, оглоблями во что попало. Все обозные кони, храпя, заплясали на месте, удерживаемые натянутыми до отказа вожжами. В одну минуту копытами под собой ямы нарыли.

А поодаль, на виду у людей, редкой гусиной цепью покатила в степь волчья свора — голов с полдюжины. Матерые, горбатые и словно бесхвостые, волки уходили не торопясь, плавно и неслышно.

В розвальнях оказался одинокий путник, крепкий малый, обросший русой бородой, но с нездешним разговором.

— Ты чей будешь? Откуда?

— Из Риддерска...

Это верстах в ста северней Усть-Каменогорска, вверх по Ульбе.

— Что везешь?

— Камни.

Посмотрели: и верно, камни! В брезентовых мешках, завернуты в тряпицы...

Ну, понятно, если не полоумный, значит, контра — с той стороны, с Черного Иртыша. Глядит нравно. Из-за пазухи, из-под ватника торчит рукоять нагана.

— Камешки-то у тебя никак золотые?

— Именно! С золотого дна.

— А если мы тебя помнем, золотишко отнимем?

Засмеялся.

— Для вас оно не золото. Свинец. И того девять процентов. Золота — семнадцать десятитысячных! Соображаете, Микулы?

Думали, однако, что он завернет назад, с обозом. И опять не угадали. Человек стал обтирать коня, подтягивать сбрую, готовясь ехать восвояси.

Вступилась девушка:

— Послушайте... Дело к ночи. Волки вернутся.

Он оглядел ее с ног до головы пристальными маленькими голубыми глазками, почесал бороду.

— Доскачу до Выдрихи. Авось отстреляюсь... Вы из области? К Карачаеву? Вас ждут... И вы так едете? Одна? Ну и ну... — Он снял ее с ног со своих саней тулуп и завернул в него девушку. — Отдадите там Карачаеву. Это с его плеча.

— Погодите, товарищ... Как вас зовут?

— Моя фамилия — Небыл.

Она не поняла, переспросила, он вскочил в сани, махнул рукой:

— Я князь Кучеренко-Рябых-Залихватский! — И, стоя, поехал. — А вас как зовут? Ан-ной? Невероятно... Мне цыганка гадала, что я женюсь на Анне! Пойдете за меня замуж?

— Конечно! — крикнула она, супя брови.

— Прощай, невеста!

Она молча кивнула.

В Усть-Каменогорске обоз остановился на площади с деревянными коновязями. Девушка пошла в Совет. Долговязый парень, который лазил к ней на печку, догнал ее и дернул за рукав тулупа, волочившегося полой по снегу.

— Эй! Не беги. Глянь-ка на нас. — Он сунул ей в руки два увесистых ломтя сала. — Мужики велели отдать, кланяться... Бери, мол... — Он поклонился с усмешкой, сняв шапку, и покачал головой. — Кнутом! Нешто так можно? Срам на люди показаться. Удавлюсь на березе — твой будет грех... Слышь?

Она поправила платок на затылке. Сказала не по-нашему:

— Я очень, очень рада... — Взяла сало и дала парню три кусточка сахара-рафинада, которые держала в кармане пальто в чистой тетрадной бумажке.

2

Действительный тайный советник бандитских дел

Карачаев, уполномоченный обкома, встретил девушку с откровенным недоумением. За тулуп он благодарил, а документов не стал и смотреть. Черный, скуластый, как монгол, он уставился на нее воспаленными от долгого недосыпания, сухо блестящими глазами, потерянно подняв брови, словно решая, смеяться ему или отвести душу бранью.

— Сколько вам лет?

— Больше восемнадцати, — ответила она с вызовом. И подумала: «А тебе больше ли двадцати? И много ли больше?»

— Что умеете делать?

— Все, что будет нужно...

— Для чего нужно?

— Для оживления кустарного промысла и укрепления колхозов!

— Поедете обратно, — сказал Карачаев. — Немедленно. Скажете Витюгову, что у меня не пансион для девиц с шелковыми косами. У меня бандитские гнезда, кулацкий саботаж. Война за хлеб, за Советскую власть.

— Я поеду в села,— сказала девушка,— вверх по Ульбе, в те самые бандитские гнезда.

— Ага. Ну что ж, валяйте! Полазайте по нашим тропам. Горы, воды... Благословляю вас, леса, и тому подобное... Я вам дам красный и синий карандаш для зарисовок.

— Вы мне дадите коня.

— Даже коня! — Он взял со стола широкую желтую линейку.— А вот этим по одному месту вы не желаете?

Девушка встала, нежно покраснев.

— Вы устали, измучились здесь, товарищ Карачаев. Мне очень хочется вам помочь.

— Мне? По-мочь?

— По мере моих сил, разумеется.

Он все же чертыхнулся сквозь зубы.

Она взяла со стола свои документы.

— Первым делом мне нужно будет связаться с бухгалтером местного кустпрома. Как его по имени-отчеству?

Карачаев насмешливо сощурился.

— Иван Викентьевич... Павлицев! А вам известно, что он подпольный вожак кулачья? Действительный тайный советник бандитских дел. Полковник царской армии, неразоблаченный колчаковец.

— Нет... мне не говорили...

— Куда же вас, извините, черт несет? Какая такая бухгалтерия?

Ей хотелось тоже крикнуть: «Туда, куда вас! Дьявол, сатана и прочее...» Она сдержалась.

— Мне поручено проверить отчетность.

— Ступайте проверяйте. Сейчас он у себя дома, на том берегу Иртыша.

— А как... к нему идти?

— Как люди ходят! По льду.

Карачаев проводил девушку к реке, к береговому припаю, припорошенному снегом, и небрежно кивнул, стягивая рукавицей белую пыльцу с валенок.

— Вон на тот мысок держите... где изба под железной крышей...

— Спасибо,— сказала она едва слышно.

И пошла по ледяной глади, старательно, широкими кругами обходя зеленовато-черные колодцы прорубей, издали — глазки, вблизи — пасти. То и дело она заминалась, щупала ногой саженой толщины лед, вытягивая в стороны руки. Неужто она впервые так переходила Иртыш? Этого еще не доставало!



R65

Ближе к середине реки открылось, что поверх льда стоит вода, и даже не стоит, а течет, глухо журча, и в ней — небо и облака. Вода пришлась чуть повыше щиколоток, но казалось, что ей нет дна. Это выходила на ледяную грудь Иртыша неуемная Ульба.

Карачаев не сомневался, что девушка помнется-помнется там, у реки на реке, и вернется. Она пошла дальше. Пошла без шеста, без посошка, в своих аккуратных сапогах с тощей подметкой и голенищами до икр.

Идти было и скользко и вязко. Под ногами расплзлось в стороны жирное, как тина, слабо заледеневшее месиво. Попадались мелкие камешки, гольши, острые, как гвозди. Хотелось идти на носках, повыше над водой, но девушка твердо ступала на полную ступню. Сапоги промокли — ладно! Только бы не подвернулась нога, только бы не упасть... И не просмотреть бы сквозь толстое отсвечивающее стекло воды полынью — окошко в Иртыш. Тут, подо льдом, быстрина, и он намного жиже, чем у берега; так и чудится, что лед дрожит и прогибается под ногой.

Карачаев не выдержал, закричал:

— Стойте! Шут вас подери... Назад! Бешеная девка... Поворачивайте, вам говорят!

Она слышала его крик. И, не оглядываясь, помахала ему рукой. Пусть теперь пошумит. Ему полезно...

Впереди, на крутом берегу, из крытой железом пятистенной избы с высоким крыльцом вышла старушка, глянула из-под ладони на реку и отвернулась. Эка невидаль!

Ноги у девушки окостенели до колен, шаг становился неверным, но вода заметно мелела, ее ворчание утихало, и уже не ощущалось, как туго обжимает ноги ее течение, впереди было «сухо». Пушистая пороша. Проруби. До избы под железной крышей рукой подать. Девушка выбралась на покатую скользкую зеленоватую ступеньку, облизанную волной, и пустилась бегом на прямых ногах, точно на ходулях. Сапоги ее обледенели, цвета они были дымчато-стального...

Бухгалтер Павлищев принял ее куда ласковей, чем Карачаев. Встретил на крыльце и без разговоров потащил в горницу. Усадил, снял с нее сапоги. И стал крепко растирать ей ноги, смачивая ладони бесцветной жидкостью из четвертной бутылки. Потом бережно завернул по колени в теплые портянки, засунул в валенки, белые, фетровые, мужские, видимы, со своей ноги. Велел глотнуть той же жидкости. Девушка глотнула, обожгла

небо и горло, жадно запила прохладной водицей, необыкновенно вкусной.

Павлищев стоял перед ней, удовлетворенно щурясь, любуясь делом своих рук. Руки у него были мягкие, красивые. Лицо узкое, породистое. Тяжелый подбородок, усы седоватые, подстрижены бобриком. Над низким лбом — прямой пробор с проплешинами. Шея и спина словно отвесные. Военная стать.

Однако это девушка заметила позднее. На столе перед ней стояла дымящаяся миска со щами. Они крепко пахли луком. Целая миска! Старушка, видевшая гостью на реке, нарезала хлеб — настоящий, пшеничный, только что из печи. Положила около миски громадный ломоть — им можно накрыть ведро...

Павлищев коротко качнулся, не сгибая спины и шеи.

— Покорнейше прошу: откушайте прежде всего.

— Умру, но съем,— сказала девушка.

— Сделайте милость.

Она поела и уснула тут же, у стола, не помня, как.

Проснулась часа через два, в тихих сумерках, на мягкой постели, разутая, распоясанная, с расстегнутым воротом, открытая ватным одеялом, легким, как пух, в блаженной испарине.

— Иван Викентьевич...— позвала она машинально.

— Я здесь,— отозвался он от окна.— Я готов.— И показал на стол.

Одного взгляда было достаточно, чтобы узнать бухгалтерские книги старорежимного образца, в желто-муаровых переплетах.

— Вы держите их дома?

— Никак нет. Принес с того берега. Пока вы изволили почивать.

«В жизни ничего подобного не испытывала»,— подумала она. Но не ругать же человека за любезность, исполнительность!

Она с наслаждением умылась в сенях. Павлищев сливал ей на руки воду из деревянного ковшика.

Книги оказались в безупречном порядке. Претензий никаких.

Хозяин предложил чаю.

— Вы всех так принимаете? — спросила девушка.

Он ответил с обидой:

— О нет, сударыня. Заверяю вас... нет! — И пригладил ладонью редкие волосы на впалом виске.

Что же сей сон значит? За что такие щедроты?

— Интересно, откуда у вас спирт? Вы можете мне сказать?

— К вашим услугам. Я не только бухгалтер, еще и скотский врач. Фельдшер — по кавалерийской привычке и гусарскому нахальству. Для ветеринара спирт то же, что кипяток для повивальной бабки.

— Скажите, если это не секрет, а правда, что вы еще и бандит?

Он грустно улыбнулся, глядя на нее с отеческой добротой.

— Устами младенца глаголет истина. Не смею отрицать: здесь я на неблагоприятном счету. Это меня в высшей степени огорчает... Одно время мне доверяли, поручали даже всевобуч.

— Все-во-буч?

— Нечто вроде. Стрелковую подготовку местной молодежи.

— Но это же глупость! Головоотяпство...

— Обучать стрелять?

— Дать вам оружие! Как вы считаете?

— Пожалуй. Недоразумение. Я жил в Черемшанке. Теперь мне велено жить в городе, так сказать, поближе... к местам возможного пребывания... лиц, мне подобных... Живу. Жду дальнейших указаний.

Он налил чаю ей и себе, поставил чайник на конфорку желто-медного самовара.

— Не знаю, как там, в Семипалатинске, паче того в столицах... Здесь у нас, на местах, сплошная неразбериха. Подчас, знаете ли, весьма похоже на цыганский базар. Не политика — чехарда! Смутное время...

Она спросила:

— Вам не по душе власть большевиков?

— Всякая власть от бога, дитя мое. Но я бухгалтер и кумекаю, что рентабельно, а что в убыток. Вы хорошо знаете Карачаева? Мне, парнокопытному, просто жаль его редкостного таланта, дара Левши, закопанного в землю по холку! Или, скажем, вы... Это ли не глупость, трагикомедия, что вас сюда пригнали?

Глаза ее сузились.

— Меня не пригоняли. Я доброволец. Здесь мое сердце. Он рассмеялся. Встал, взял ее руку и поцеловал.

Она вырвала руку.

— Что вы делаете?..

— Не понимаете, что делаю? Не верю. Вы дворянская дочь, гражданка Коренева! Сие написано у вас на челе водяными литерами.

Она побледнела, он хлопнул ее по руке.

— Не бойтесь. Вы не на чистке. Я не донесу.

— Я не боюсь,— сказала она.— Мой отец не имел поместий. Он учительствовал всю жизнь, подобно своему отцу.

— Разночинец? М-да. Стало быть, пропойца... или гений! Служил в армии?

— Конечно. Воевал и был ранен пруссаками на Мазурских болотах.

— В каком чине?

— Начинал вольноопределяющимся... А убит на русской земле пулей в живот.

— Он был у красных?

— Он расстрелян, Иван Викентьевич, дутовцами.

Иван Викентьевич поморщился брезгливо.

— Дутов — выскочка и вор. То же, что Унгерн. Оба подошли собачьей смертью... Давайте-ка я вам подолью горяченького.

Она усмехнулась про себя и нарочито-шумно отхлебнула из чашки огненный, черный, как вино, чай. Он посмотрел на нее снисходительно, как на озорного ребенка.

— Вам... нравится Карачаев? — спросила она.

— Нимало! Но, верите ли, он за одну ночь починил мне дедовские настоящие часы с недельным заводом, которые отказались смотреть в Швейцарии, в Лозанне, двадцать лет назад. Вот они...— Павлицев показал на комод. Часы в виде павильона из стекла, с бронзовыми колоннами и шатром.— Вы уже знаете, конечно, что он не терпит меня — не за что-либо, поверьте слову, а за то, что я смыслю токмо в лошадях... Этот человек видит будущее таким, каким никто из нас не видит, причем неистово-убежденно, как маньяк или пророк. Право, я отдал бы один глаз, чтобы увидеть то, что он видит,— из чистого любопытства! («Неужели?» — подумала она.) Если он захочет, милый мой доброволец, вы станете его женой,— добавил Павлицев, почесывая себе ногтем мизинца кончик носа.

— Же-ной? — Она засмеялась не очень натурально.

— Или любовницей — все едино. Поэтому вы шли через Иртыш у него на глазах.

— Нет, не поэтому,— сказала девушка с преувеличенным высокомерием.

Павлицев равнодушно пожал плечами.

— У него есть приятель, геолог, с комичной фамилией Небыл. Из чехов, наверно. Зовут Яном. Ищет золото для Советской власти... Так вот, одна девица из его геологической партии, девица как девица, я бы сказал, не из самых глупых, прониклась к Карачаеву нежным чувством, но без взаимности. И что же получилось? Завела она его однажды в знойный денек в лес под

каким-то деловым предлогом и вдруг сорвала с себя накомарник, затем платье и легла на траву в чем мать родила под тучей комаров... Вот какая петрушка. Надобно вам сказать, что это был отнюдь не вид кокетства или чего-либо подобного, а скорей вид самоубийства, очень мучительный; впрочем, не мучительней иных. Дело каких-нибудь десяти — пятнадцати минут. Если бы комары трижды снялись с ее тела, напившись, она вряд ли осталась бы жива. Это равнозначно общему ожогу.

Павлицев помолчал, ожидая вопроса: что же было дальше? И не дождался.

— Обыкновенная мужицкая байка... В общем, про баб! — сказала девушка.

— Возможно. Не исключаю, — мягко отозвался Павлицев. — Но баял-то про это не он, а она! Светлана Афанасьевна...

— Что же, он хороший человек?

— Не-вы-носимый! Вам ведомо, как казак холит коня? Не снимая с руки нагайки.

Девушка поднялась из-за стола и прошла по комнате, исподтишка поглядывая на комод, покрытый самодельным кружевом, и на часы-павильон, поблескивающие бронзой. «Маньяк или пророк... Любопытно...» Нет, пожалуй, с дворянской дочерью Павлицев не так бы держался. Это разговор с комсомолкой, с властью, которая от бога!

«Что же такое Карачаев? — думала она. — Конечно, груб, как матрос. Тяжелая, видно, у него рука. У Левши должна быть не такая... Чем же он мне, Кореновой, полюбился? Тем, что он бабник? Непохоже... Наверно, тем, что не ставил меня ни в грош! Однако говорил на «вы». И все же оказал честь — назвал бешеной девкой...»

Об этом человеке хотелось думать. Хотелось поскорей увидеть его и вновь услышать злой, насмешливый, властный голос и еще раз непременно, отчаянно рассердить его. Вообще досадить, досадить этому человеку — по возможности сильнее, чем Светлана Афанасьевна...

Гостья просидела с Иваном Викентьевичем до первых петухов и ночевала у него дома.

Утром она узнала, что Карачаев уехал в район. Куда? Надолго ли? Все это знали, и никто не говорил. Все знали и то, что командированной из Семипалатинска нужна верховая лошадь и, если возможно, провожатый. Нет лошадей! Тем более провожатых. Некому с ней нянчиться. Пускай идет к бухгалтеру, пьет с ним чай. У него чай знаменитый.

Иван Викентьевич был явно обескуражен тем, как с ней обрацались. Но он усмотрел в этом скрытый смысл, которого на самом деле не было.

- Вы когда-либо ездили верхом? — спросил он.
— Ни разу в жизни.
— Зачем же вы требуете коня?
— Не знаю... Смешно?
— Напротив. Прелестно! Хотите, я... провожу вас в горы?
Она подумала: а вдруг Карачаев нагонит их и ужасно накричит на нее при людях? И ответила:
— Очень буду благодарна.

3

Из лесу вышел, в колхоз вошел

Павлищев достал подводу: розвальни с тулупом...

Он повез девушку сам, предварительно обув ее в нарядные подросточьи чесанки с розовым нитяным узором сбоку, у подъема. В них она выглядела совсем маленькой, не учительницей — ученицей.

Доехали живо. В большом селе у кромки пихтового леса «спешились», и гостя из области в густых облаках пара вошла в правление колхоза, громадную пустую избу, чистую и теплую. Вошла в мир, в котором причудливо перемешалось «божественное» и мирское, корысть и совесть тех дней.

Она никогда не жила в деревне, но знала, что в здешних местах хлебопашествовали и промышляли кустарным ремеслом.

Били баклуши, то бишь начерно обкалывали чурбаки под деревянную посуду — ложки, чашки и старомодные бражные жбаны с резными ручками и навесной крышкой. Тесали клепку: кедровую — под пивные и винные бочки и осиновою — под соленья, селедку и капусту. Из пихтовой лапы гнали смолу; смола шла на скипидар, сургуч, лак, замазку. Еще работали по шерсти и коже. Знали тут пимокатное и овчинное рукодельство. Занимались им многие, как и в самом Семипалатинске. Тем город славился от века.

Сказано: человек хлебом живет, не промыслом, но за Ульбой жили и тем и другим. А каковы промыслы, таковы и промыслы. Павлищев привез гостью в завидное место: в этом селе она впервые отведала парного молока. Угощали — не таились. Подали на белоснежном полотенце с красными петухами, вышитыми крестом. Она пила молоко и думала: «А где же бандиты?»

Председатель колхоза Боровых надежный, сразу видно, не подставной. Из кержаков, но был в Красной гвардии. Народил двенадцать детей. Жена у него — суровая, богомольная ста-

руха. Он побаивался ее. Перед ним робели все. С собой нека-
зист, лицо посечено оспой, походка медвежья, а, оказывается,
мастер петь — умел и хороводные, и обрядные, и сказы, и ду-
ховные стихеры, любил и понимал красное словцо — и шутку
и лозунг.

Повадкой прост председатель, в деле скор и упорен. В деле
он никакого страха не знал и на уполномоченных не огляды-
вался. Колхоз свой назвал с тонким намеком: «Орден Крас-
ного Знамени».

Девушка смотрела на него с почтением. Павлищев держал-
ся в сторонке — подчиненным, маленьким бухгалтером. Когда
его спрашивали, отвечал, справляясь в записной книжечке. А
Боровых упорно величал его дядей Ваней. Так звали тез-
ку Ивана Викентьевича — известного головореза, бежавшего в
прошлом году на Черный Иртыш.

Про бандитов Боровых говорил легко, весело:

— В лес ходим за лыком, пихтой, вестимо, беспокоим их.
Ан, у нас и бабы не пужливы, не визгливы... Вон Демид Мих-
нин, по-науличному Демидка Махоня, немало сомущал народ, а
пришел его срок, позвал я его, глядишь, из лесу вышел, в
колхоз взошел!

Вечером председатель собрал собрание. В первом ряду рас-
селись благолепные старики. Позади мужиков — бабы, на по-
доконниках — девки. Приоделись. Сарафаны цвели по-летнему
из-под расклешенных старинных боярских душегреек.

Пришел и Демидка Махоня и ему подобные. Боровых оклик-
нул их, чтобы показать приезжей.

— Здорово, Демид! Здорово, Исидорыч!

Ему отвечали чинно, спокойно:

— Здравствуйте-ка...

Иван Викентьевич сел во втором ряду.

В области девушку учили говорить на местах, не церемо-
няясь: «Не сделаете, не дадите, положите партбилеты на стол!..»
Партийцев на селе было немного, они были силой.

Но девушка говорила на собрании иначе.

Из книжек она знала, как Дзержинский, Пархоменко прихо-
дили безоружные к восставшим эсерам, анархистам и единствен-
но правдивым словом переламывали их настроение. Отец рас-
сказывал ей, как в Петрограде на многолюдных митингах высту-
пала Александра Коллонтай, первая женщина-нарком.

Так говорить речи девушка и не мечтала. Но она верила в
разумное и честное слово. И говорила, будто перед ней детиш-
ки в школе: не крикливо, доступно для всех и по возможности
не нудно.

Слушали ее сперва с недоверием: действительно ли она из области?.. Потом заинтересовались. У нее было пристрастие к цифре, а цифру крестьянин почитает: она примета самостоятельности.

— Колхоз — это трактор,— объясняла приезжая, стоя под керосиновой лампой.— В двадцать четвертом году мы построили два трактора, в нынешнем дадим по плану три тысячи. В будущем году — десять тысяч! С машиной дешевле, выгодней...

— Как так дешевле? Нешто это может быть? А бензин? Забыла? Говоришь, чего не смыслишь... без разуменья!

Девушка стала загибать пальцы.

— Если пахота гектара на живом тягле обойдется в десять рублей, на тракторе — в семь рубликов девяносто семь копеек. Посев... соответственно — два семьдесят пять и рубль девяносто девять. Уборка: на лошади — четыре с половиной, на тракторе — два рубля двадцать девять копеек! Включая и бензин...

В избе стало тихо, как в церкви.

— В итоге на гектаре кладем в карман пять рублей чистых. Спрашивается: есть тут смысл? Вот вам подарок рабочего класса.

— Эх она... лихоманка...— сказал дед из первого ряда.— Врет, не запнется! За это тебе — делва с медом.

Делва по-староцерковному — бочка.

Девушка называла цифры наизусть, как верующая — «Отче наш». Это мужикам было по душе. Это они любили.

А она посматривала в сторону темных входных дверей: не покажется ли там товарищ Карачаев? Пусть бы он сейчас обмолвился про шелковые косы. Попробуй-ка обругай...

До поздней ночи ее пытали вопросами, и она, не дрогнув, ответила на все: и про мировую революцию, и про женский стыд, и про лорда Керзона, и про жизнь на Марсе, и про то, верно ли, что казнили царя Николашку.

Павлищева в толпе не видно было. Дядя Ваня исчез незаметно, без шума, до утра.

Назавтра, в воскресный день, гостя вознамерилась проникнуть в кержацкую тайную молельню; в селе имелась, конечно, не одна. Попросила Павлищева: не сводит ли помолиться по здешнему чину и уставу? Он ответил и впрямь по-раскольничьи:

— В пимах, дева, молиться грех... как сидя креститься...

— Я разуюсь.

— Скажут: баские у вас ножки!

Иван Викентьевич щурился, почесывая ногтем мизинца нос, но говорил с ней заметно холодней. От доверчивости, добродушия не осталось и тени.

Тогда девушка принялась рисовать, как предсказывал Карачаев, только не горы и воды, а лицо Павлицева, его лошадиную голову... И он осведомился язвительным шепотком:

— Это у вас что же, вид допроса?

— Угу, — ответила она небрежно.

Разговорились об оружии, осевшем после гражданской в селах. Как бы невзначай Павлицев предложил: не пострелять ли?

Вышли за село, установили под горушкой самодельную мишень. Стреляли из председательского нагана и из мелкокалиберки. Предложили пальнуть гостью.

— Из чего предпочитаете? — спросил Иван Викентьевич. Она выбрала наган.

— Покажите, что нужно делать.

— Уж будто не знаете!

— Первый раз держу в руке.

Он показал, она выстрелила, торопливо прицеляясь. Руку ее высоко подбросило. Ясно, что в белый свет. Поглядели на мишень: в яблочко, в самую сердцевинку! Десять очков...

Девушка подняла фанерку, выдернула спичку из дырки от пули, посмотрела сквозь дыру на свет, смеясь беззаботно и не замечая, что никто ей не верит, а Павлицев видит у нее в кармане зеленых бридж такую же игрушку, как в руке.

— Ну-с, мне пора, — сказал бухгалтер и сухо доложил, что возвращается в город, забирает подводу. Дальше им не по пути. Она удивилась его тону.

— Что же, и валенки с меня снимете?

— Носите покуда. Бог с вами, — ответил он, а ей показалось: «Покуда бог с вами...»

Под ложечкой у нее неприятно защемило, но она сказала:

— Привет Карачаеву.

Иван Викентьевич откланялся.

В понедельник Боровых дал ей «виноходца» под мужским седлом и бойкого деда в поводыри. Третьим увязался пожилой фельдшер — «до Любишкина». Любишкин — голова соседнего колхоза, выше по Ульбе.

В последний момент Боровых что-то стал говорить о Любишкине — неприглядное, ругательное. Она слушала вполуха. Все ее мысли были заняты «виноходцем».

Местные лошади некрупные и по виду округлые, мягкие, а иноходец попался рослый и костлявый. Дорогую гостью подса-

дили в седло, и она почувствовала себя, точно на гребне крыши. Неловко, страшно и стыдно...

Дед затрусил на своей кобылке. Иноходец мотнул головой, едва не выдернув всадницу за повод из седла, и машисто пошел следом. Полетели соколы!

— Ехали казаки да чубы по губам... — смешливо нашептывала себе девушка стих из «Улялаевщины».

За околицей ей стало не до смеха. Хилый, бестелесный дедок норовил пустить рысью. Иноходец удлинял свой мерный страусиный шаг, и в седле начиналась пляска святого Витта. Девушку трясло, точно безрессорную тележку на ухабах, беспорядочно молотило о ребристое седло. Локти ее мотались неужержимо, голова тоже, все в животе болталось, сердце вышибало из груди. Глупо и больно до слез.

Не вытерпев, она обеими руками натянула поводья, чтобы чуточку передохнуть. Подлый коняга и ухом не повел. Его дергали за повод, и он дергал, только и всего. Силы были неравны.

Она готова была закричать, когда произошло непонятное. Случайно она попала в ритм коня и словно поплыла в седле. Какое счастье! Вот она, иноходь... Сказочный конь! Спасибо тебе... голубчик...

Путница обрела способность видеть, слышать и утирать нос. Она стала зябнуть, но глаза не слезились. В горах теплей, чем в степи, мороз жжет, да не палит.

Пурпурные огненные кисти калины висели над головой, здесь ее было несть числа.

«Яблоню трясут, вишенье обирают, а тебя, бедную, пугливую, самую красивую, заламывают...» — думала девушка с нежностью.

Фельдшер наломал ей калины; ягода была слегка сморщена.

Дед, однако, затеял ехать покороче и повернул на кручу. Водил-водил суматошный дедок и заплутался. Фельдшер беспокойно оглядывался, а дедка осерчал:

— Что? Дядю Ваню спужались? Вон он, за камнем... с виккерсой...

«Виккерс» — пулемет, английский!

Тщетно она молила:

— Дедушка, пожалуйста, а й д а по длинной дороге.

Тот кипел, как самовар:

— Мне с вами некогда тут балакать... политикой заниматься... Дорога не кол — к избе не приставишь. Пустился в путь — смекай суть! Ишь ты... Туда же... — И не мог остудиться час битый.

Кружил, петлял — по целине, по глуши, поднимая свой же след.

И опять она не усмотрела за его суетой ничего дурного. Ей в голову не пришло то, о чем со страхом думал фельдшер: как это старый хрыч мог сбиться с дороги, зачем?

Между тем сидеть в седле становилось невмоготу. Ноги в паху растерло, наверно, до живого мяса. А дедка не сбавлял рыси, погонял, понукал.

День потух, едва солнце зашло за лесистый гребень горы. В село въехали в темноте кромешной, окликая друг друга. Со всех сторон из ночи несся собачий лай. Девушка лежала животом на луке седла, бросив поводья, и потихоньку плакала.

— Эй, цела? Начальница! Ушли от дяди-то Вани...

Она сползла по крупу коня, встала на ломкие, зудящие ноги, нащупала покатые перильца и повалилась боком на ступеньки крыльца. Тотчас вскрикнула в ужасе. Что-то огромное, теплое, шершавое коснулось ее щеки и оглушительно фыркнуло в ухо. Конь...

Кто и как ее встречал в избе, не запомнила. Видела все, точно во мгле.

Фельдшер бранился сквозь зубы. Один дедка был весел, болтлив.

— Уморилась? Ноги подсекаются? У кого — с устатку, у кого — с потехи, ей-ей... Не одни фершалы, стало, морят! Девкам о такую пору под окном сидеть, а не нравничать в пути над старшими. Капрызничать!.. Ну, не мни лишнего-то: устанешь — пристанешь, вздохнешь — повезешь. Дядю Ваню еще встренешь!

Фельдшер встал перед девушкой, загораживая ее от деда, сунул ей в руки маленькую склянку.

— Что это?

— Верите, берите...

Она пощупала пальцем содержимое склянки и зарделась до ушей. Вазелин!

4

Хлюбишкин, красная борода

Это были, однако, цветочки, а ягодки — впереди.

Хлюбишкин, видный мужик с красной бородой, точно у перса после мытья хной, в малиновых галифе с кавалерийским кантом, надутых, как косые пиратские паруса, встретил гостью из области не молочком — водкой, с утра, спозаранку. И когда та отказалась, соорудил постную рожу.

— Глядите. Вам видней. Мы, совсибиряки, потребляем... не брезгуем...— Он мигнул желтым свиным глазом.— Сама-то не из кержачек будешь родом? Не обожаю я этих чистоплюев! Леригия у них — ширма...

И гостья не нашлась ему ответить. Обомлела горожанка перед красной бородой.

«У Любишкина» ей впервые стало страшно. Здесь жили худо. Опять просяной хлеб, пироги из калины. И тоже — словно напоказ.

Яровые еще не обмолотили, с уборкой дотянули до рождества, потому что зерно, ссыпанное в колхозные закрома, растаскивали кулаки. Чуть ли не еженощно у амбара стрельба. Бандюги подкатывали на лошадях, сбивали замки, грузили осьминными кулями. Тек артельный хлебушек, как в прорву.

Что проку стараться? Дольше с обмолотом — дольше с хлебом. По крайней мере не разворуют...

В первый же день девушка столкнулась с человеком удивительной судьбы.

Жил в селе мужичонка, лет не более тридцати, а по обличению — за сорок, сирота с малолетства, бобыль неженатый, никому ни на том, ни на этом свете не нужный. По-науличному — Мырзя. Батрачил за одни харчи с тех пор, как себя помнил. И был до того нищ, до того гол, что образ христианский потерял. Считался недоумком, скотиной мычащей. Юродивые и те мудреней, замысловатей его. Он и сам себя не отличал от дворовой собаки.

И вот записался он в колхоз и неожиданно-негаданно, по щучьму велению получил лачужку, крышу над головой, получил новый овчинный тулуп и при том тулупе должность. Нарядили Мырзю сторожем. Вручили под ответ мирской урожай.

Горбатого могила исправит — Мырзя выпрямился при жизни. В одно лето он помолодел лет на десять. Опрятен был бедняк, как старушка. Обносился до креста нательного, заплатан в три слоя, но всегда умыт, выскоблен, словно пол под престол, и щеки порезаны самодельной бритвой — обломком косы. Прежде ходил с чахлой пегой бороденкой, трепал ее за скорузлыми перстами, горбясь, в ноги глядя. При должности — нельзя!

Самое же удивительное — заговорил Мырзя. Да как! Непонятно откуда забытый, темный взял слова такие, сладостные и праведные, душевные и умственные...

Начал он с того, что пошел по домам своих старых хозяев, у коих сыновья, братья, сваты в лесу. Стал их совестить, улащать, чтобы не рушили они народного добра. Пустил слух, будто и не антихристово это дело — колхоз и не быть концу

света, быть началу. Мало сказать — обесславил, обезручил кулаков Мырзя своей необыкновенной агитацией. А кончил тем, что в осеннюю ночь выстрелил из винтовки в самого Фомку Докучича, когда тот целовал ломиком амбарный пробой. Просил честью уйти — не послушался Фомка, заготовил просящему в очи непристойно, срамно. Перекрестился Мырзя и уложил на месте молодого атамана. Другие разбежались.

Не остался у стынущего тела и Мырзя. Как записано было в акте, «пал на коня, побежал в правление». Прибежал с повинной — убил человека!

После той ночи встали у амбара «мырзичи». Но самого Мырзя затаскали по прокурорам кулаки: якобы погубил он Фомку из ревности, подстерег у бабенки, а труп подтащил к амбару и ломик подкинул. Выставили свидетелей дюжину.

Село лихорадило, народ бродил, как хмельное сусло на свежих дрожжах; бродил и кисло, и сахарно, и гнило.

Мырзя ходил за присланной из города по пятам, но другие — и на людях и с глазу на глаз — избегали с ней говорить. Отходили прочь, жуя собственный язык, те — со смешком, а те — и с крестным знамением. Мужик любит посетовать, покорить, поплакаться; ей не жаловались.

К слову сказать, ее уже знали здесь. Раньше ее самой дошло досюда данное ей прозвище: Крестная... Это за то, что она в дороге окрестила кнутом одного длиннорукого.

В селе знали и то, что она не стала пить с Любишкиным, но странно об этом толковали. Вроде бы лучше было, если б она не застеснялась с ним выпить. Оно проще, понятней...

Девушка сочла, что наткнулась на лютых святош, изуверов, которые и над собой и над другими «ради» измываться... Мырзя открыл ей глаза.

Любишкин... Вот кто стоял между ней и людьми.

При догляде он держался смирно, деловито-озабоченно. Но это личина. Из-под нее торчало нечто страховидное: не то русский торгаш, не то казахский бай, не то аглицкий воротила (на манер прежних риддеровских), только с партийным билетом.

Обычно Любишкин пил, гулял неделями, носился на тройках с гармонистами, с бабами, с малиновым звоном, и в этом занятии тоже ни страха, ни устатка не знал. Отоспится, поправится и плывет дале. Поправиться — значит опохмелиться. Пожалуй, он один справил святки не по-христиански. истинно поэтически, так, что земля гудела, горы зыбились, леса качались, а бог Ярила плясал вприсядку.

В селе Любишкин был начальством батюшкой, кормильцем и заступником перед высшим начальством, поскольку оно чем старше, тем хуже. За глаза его звали Хлюбишкиным с того ве-

селого часа, когда он под пьяную лавочку сказал господам собутыльникам:

— В Замоскворечье был молодец-купец Хлынов, в Самаре — Хлудов, в Семипалатинске — Хлопин, а здесь — Ххх-любишкин!

Узнав это, девушка поняла: люди считают, что она и Любишкин одним миром мазаны.

С этим «красным» ей захотелось говорить так, как ее учили в области.

— Товарищ Хлюбишкин... интересно, Карачаев знает о вашем существовании?

— Ему да не знать! Познакомились... Говорят, у него руки до меня не доходят. Дядей Ваней занят! Я для него мелкая сошка.

— Скажите, вы сами считаете себя на своем месте?

Он подкрутил ржавое колечко уса.

— Кого же ты поставишь на мое место?

«Мырзю!» — подумала девушка, и он, кажется, понял ее без слов. Скулы у него стали сизыми, как баклажан.

Тогда она «велела» ему созвать собрание.

— За-а-чем? — пробасил он голубиным голосом, почти униженно, и девушка возликовала в душе.—Нужно девяносто пудов? Дам девяносто! Хе-хе... Лишние разговоры—пустые хлопоты... К тому же нашенькие богомольцы женский пол не уважают. Силком не загонишь бородачей. Нешто охота тебе срамиться?

Он просчитался. Народу набилось битком. Дух захватывало, точно в парной бане. И слушали гостью примерно, как Мырзю.

Говорила она строгонько, не подлаживаясь под местный говор, не прикидываясь свояченицей всем и всякому. Говорила, как доподлинное городское начальство, но не то, что ожидали. Она сказала, что не будет требовать девяносто пудов! И по кустарному делу наперед знает, что ей скажут: понаделали, мол, саней-розвальней, затоварились, обезденжели; тут не до клепки. Это ребенку понятно. А вот что непонятно: зачем дали в обиду Мырзю? Как позволили заткнуть ему рот?

— Покуда на селе не будет житья Мырзе, никому житья не будет. А будет Мырзя в чести, все будет — и хлеб, и клепка, и детишкам на молочишко. Не сани—люди у вас затоварены! совесть мирскую, советские законы по ветру пустили и, можно сказать, сами себя разорили. Маркел Ефимович... встаньте, пожалуйте! Мы на вас посмотрим.

Мырзя встал, подтягивая драные порты, и никто не хихикнул.

— Поняли вы меня, товарищи крестьяне?

Как не понять! Не зря бают: дитяtko — за ручку, матку — за сердечко...

Выходит дело: прав «душегуб» Мырзя. На Хлюбишкине свет клином не сошелся!

Приезжая не упоминала председателя, но все смотрели на него — это в его огород, ему в самое темечко. Еще смотрели на родичей Фомки Докутича — они в полном сборе в первом ряду, сгрудились, обнесли президиум, как скит столбовым тыном. Не убоялась девка ни тех, ни сих. Стало быть, за ней первая сила, государыня власть!

Мырзя стоял, шмыгая носом и сияя, точно серебряный рубль, утирая черной ладонью не то пот, не то слезу. И то и другое — соленая водица, нищая роса, но иная водица железо прогрызает.

Поднялся Любишкин и стал обрисовывать, какой он был и есть красный партизан, и грозить, что он не дозволит. Его выслушали, не перебивая, и забыли про него. Насыпались с вопросами на командированную, словно хотели наверстать упущенное и изголодались по ее вполне понятному, человечьему и не слыханному от других слову. Заставили и Мырзю «сказать», чтобы она послушала его — так ли? Она ответила: так!..

Ночевать ее определили поблизости от правления. Сунув руки в карманы пальто, подняв кожаный воротник, она шла по скрипучей снежной стезе. Ночь лунная, белая, как на далеком Севере. Над головой и под ногами искрятся звезды. Только тени непроглядные, как ямы-провалы.

Она обходила сугроб, когда около ее уха, басисто визжа, пролетела тяжелая тупорылая пуля-жакан. С противоположной затененной стороны улицы донесся слабый хлопок выстрела. Там, у сарайчика, стоял парень в нагольном полушубке с охотничьим ружьем в руках; дуло чуть дымилось.

— Вы что же это балуете по ночам? — вскрикнула она. — Так недолго и в человека угодить!

Парень, ни слова не сказав, неслышно отступил в тень и растаял в ней.

— Что за чудак! Безобразие! — рассердилась она.

И тотчас из-за ее спины выскочил Любишкин.

— Что такое? Кто шумел? Семка, подлец, конечно? У нас это бывает. Темка у него знатную невесту отбил. Вот он ее и страшает. Обознался, дурья голова...

Подбежал фельдшер. Руки, губы у него тряслись.

— Вы не ранены? Хвала создателю! Милая вы моя... славный вы человек...

Она улыбнулась его виноватому, жалобному виду.

Лишь много позднее она задумалась над тем, почему ее не провожали в такую глухую пору с собрания — ни одного не нашлось попутчика, как нарочно. Пугали ее в ту ночь или стрелок промахнулся? Семка... Темка... Кто их разберет? Тогда ей было не до них! Тогда ее больше занимало, что станет с Мырзей.

Спала она крепко, без сновидений. Наутро задумалась и решила, что зашла достаточно далеко, чтобы не пятиться. И раз Любишкин плакался, значит, она тут не лишняя.

Нужно было еще в одно село, в горы повыше, к небу поближе.

Очень хотелось уехать подальше, чтобы Карачаев догонял ее подольше и обозлился бы покрепче. Втайне она не расставалась с ним с первой встречи, и ей нужна была его злость. Только злость, больше ничего...

Дед провожать ее отказался наотрез. Отстал и добряк фельдшер. Но дорога была прямая, дорога одна...

Девушка вновь с мнимо веселым смешком взгромоздилась на иноходца, поправила рюкзак за спиной и пустилась в путь на свой страх и риск. Ее не отговаривали. Подстегнули коня, чтобы бойчей ходил. С тем и расстались.

Правду говоря, расстались не сразу. Иноходец пошел по селу кругами, с одной стороны улицы на другую, от пятых ворот к десятым, не слушаясь ни повода, ни гибкой лозины, данной путнице вершить и править. За дедовой кобылкой конь бежал охотно, а один из села не шел. Без компании скучно.

Подоспел Мырзя и проводил всадницу до края села, злым шепотом понукая коня.

Ее насмешило его усердие.

— Лошадь слепая повезет, если на возу зрячий, — так, что ли, Маркел Ефимыч?

— Убьють меня теперя, — сказал Мырзя.

Она перестала смеяться.

— Сегодня же напишите заявление и отдайте секретарю. — Имелось в виду заявление о вступлении в партию.

Больше ей нечем было его укрепить. Она не могла предвидеть, к чему приведет ее совет.

Когда Мырзя ушел, иноходец глянул ему вслед, свернул с дороги, забрался в чей-то огород и затоптался на месте, игриво мотая головой и помахивая хвостом.

Девушка застонала от досады. «Что же мне, ночевать здесь?» Бросила ненужную лозину, взяла покороче повод и по

случайному наитию сжала коленками и пятками бока иноходца. О чудо!.. Конь присел на задние ноги и, мигом перемахнув через провисшую жердину изгороди, ходко побегал по дороге.

Девушка вспомнила совет Мырзи: «А вы пришпорьте, пришпорьте-ка...»

— Ах, та-ак! — вскрикнула она и забарабанила пятками, ухватившись за луку седла. Конь покосился на нее карим глазом, протяжно фыркнул.— Понравилось? Черт! Я тебя избью сейчас...— сказала девушка, вытаскивая из кармана носовой платок: у нее был насморк.

Дальше поехали резвей. Девушка сморкалась в платочек протяжно, трубно, так, что уши закладывало. Конь оглядывался вопросительно.

Вскоре она открыла еще одну любопытную его повадку. Внезапно он замедлял шаг и, наострив уши, останавливался. Это означало, что через минуту из-за поворота появится встречный. Казалось, иноходец предупреждал седока и подстерегал встречного. Девушка поняла: степная казахская привычка... В пути как не обмолвиться словцом! Надобно обменяться новостями. За тем конь и останавливался.

Она все же опасалась, как бы он не повернул следом за встречным... И загодя принималась пинать его пятками в бока.

Ее окликали изумленно:

— Эй! Далеко ли собралась? Парень ты или девка? Из чьих будешь? Отзовись!

— Я Крестная! Кореневых... К бандитам пошла, на побывку! — отзывалась она и лихо привставала в укороченных по ноге стременах, маленькая, складная, словно выросшая с детства в седле.

Кореневых — это по-сибирски. Знай наших!

Конь нес ее все выше, к большому седловидному бесснежно-му перевалу.

Неподалеку от перевала, в темной каменистой лощине, изогнутой в виде подковы, иноходец повернул голову в сторону пихтового леса, черневшего вдаль под горой, сошел с дороги и осторожно зашагал по целине, меж острых камней, к лесу.

— Куда ты, милый? Куда? — спросила девушка, растерянно опуская поводья.

Конь посмотрел на нее, потом на лес и коротко заржал. Разве тебе не нужно туда? Нет, конечно, тебе не нужно... Он остановился и повернул назад к дороге. А уши его были наставлены в сторону леса.

— Что там такое? Там кто-нибудь есть? — шепотом спросила она.



Конь оглянулся на лес и опять фыркнул.

— Никого там нет!.. — громко сказала она. Но кровь отлила от ее щек, сердце обмерло.

Меж пихтовых лап на опушке ей мерещились дюжие бородастые всадники, похожие на Докутичей, которые ели ее глазами на собрании прошлой ночью. Это излюбленный кулацкий обычай — подстеречь после собрания, в дороге, одного вдесятером.

«Дядя Ваня... ау!..» — думала она со страхом.

Лощина была пуста и темна. Серые, сизые, сиреневые скалы светились словно изнутри. Пихтач вдали чернел, как зев пропасти. Ни человека, ни горного козла, ни птицы... Дорога гола, точно обглоданная кость; на ней не остается следа.

Девушка прижала холодный скомканный платочек к опухшему, натертому докрасна носу. Пока что она на коне. Случись, падет иноходец, тогда она пропала. А если волки, как в тот раз в степи? Они водятся и в горах. Вынесет ли ее конь? Удержится ли она в седле?

Зябко поведя плечами, она представила себе, как валится со спины коня, кричит, волки набрасываются на нее, неведомо откуда подлетает верхом Карачаев, свист, стрельба, волки врассыпную, и он поднимает ее с земли, немой от радости и вины перед ней. Представила и... грустно, стыдливо усмехнулась: «О чем я думаю?»

Перед ее глазами встал Мырзя, в заплатанном, тощем армячке, подпоясанном веревкой. Да, может, очень может быть, что его «убьют теперь». Вот кто остался один — лицом к лицу с красной бородой и Докутичами. Приезжая его бросила, словно ей было недосуг разделить с ним опасность. Разворотила осиное гнездо, подставила под удар — и ходу!

Недаром Павлищев умыл руки, хитрец. Он не заикнулся про Хлюбишкина.

«Неужели убьют? Уже убили?..» — подумала она, шмыгая мокрым носом.

Иноходец почувствовал ее состояние и снова завилял.

— Ну, ты... балуй, однако! — крикнула она, твердо посылая коня к перевалу и думая про Павлищева: «Так это ты руководишь Докутичами?»

На перевале подул сильный, порывистый ветер. Девушка заслонила от него руками и обронила носовой платок. Он скользнул по гладкой поле пальто и упал под ноги коню промерзшим комком.

Конь остановился, потянулся к нему мордой, понюхал и шумно вздохнул, ожидая.

— Д-дура! Безрукая!..— выговорила она с сердцем.

Платочек батистовый, с кружевной каемкой. Такие на дороге не валяются... Он лежал у переднего правого копыта, далеко внизу, словно под обрывом. Слезть за ним? Но оттуда в седло нет возврата!

Из носа текло. Капнуло на отворот пальто. Всадница поспешно утерла нос простроченным обшлагом рукава и замычала от боли: жесткий шов царапнул распухшие ноздри.

Иноходец послушал-послушал, как она пыхтит, свесившись боком с седла, распустил благодушно свои толстые мягкие губы и пошел вниз, с перевала.

Фу, какая обида! Не потерять бы еще валенка с ноги...

Из-за хребта выглянуло солнце, пригрело горы. Небо заголубело, снег стал белей, леса зеленой, скалы выпуклей. Кругом чистота, простор. Куда ни глянешь — ясные дали.

Девушка выпрямилась в седле. На время и нос у нее будто бы подсох. И на сердце стало немного легче.

«Маркел Ефимыч...— сказала она мысленно не то ему, не то себе.— Держись, милый Мырзя...»

Становилось теплей. Верховой перевальный ветер утих за спиной, за поворотом дороги. Конь осмотрительно сносил наездницу с крутизны. Теперь и он работал честно. Она любовно обняла его за шею и тихонько запела, сперва не размыкая рта, без слов, потом громче и громче, сочиняя на ходу нелепые слова:

— Еду, еду, еду... Но не в пансион! Где ты, Карачаев? Погляди на нас...

Она засмеялась своему простуженному, сиплому голосу, откидываясь в седле, и вдруг закричала с удовольствием, от всей полноты души:

— Кара... кара... чаев... Я... тебя... лю-блю!

«Лю... лю... лю...» — отозвалось эхо.

Конь дернул за повод и побежал во весь мах. Кончики его ушей сблизилась. Ноздри напряженно округлились. Девушка умолкла и прислушалась. До нее донеслось непонятно откуда глухое, отдаленное и необъяснимое гудение.

Что такое? Шмели зимой спят. Река шумит не так, она шепелявит. Самолет? Откуда ему здесь взяться?

Иноходец бежал, цокая подкованными копытами, а гудение не ослабевало и не усиливалось, но теперь уши были полны только им. Тихий, плавный, волнистый гул.

Дорога округло изгибалась вправо. Над ней все круче и круче нависала источенная ветрами скала. Всадница приникла к гриве коня: скала ложилась ей на плечи. Затем серая глыбиста оборвалась отвесной шершавой стеной и осталась позади. От-

крылась обширная безлесная долина, покрытая свежим снегом. И сразу гудение обрело силу, разлилось от края до края, встало незримой пеленой до неба.

Колокола! Это колокольный звон... Вдали завиднелись искристо-белые крыши изб и приземистая бревенчатая церквушка с синими игрушечными луковичками куполов, не тронутыми снегом.

«Кара... кара... чаев...» — гудели колокола.

5

Что согласуется с большевистской философией?

У крайних изб она сползла с коня, размялась немного, высморкалась и пошла в село, ведя коня в поводу.

В селе ее ждала нечаянная встреча. Павлицев — собственной персоной!

— Иван Викентьевич... какими судьбами?

Он принял из ее рук повод. Улыбчиво прищурился, осматривая статного иноходца.

— На этом коне поездил и я. М-да-с... Великолепное животное.

Внезапная догадка блеснула в ее глазах. «Ты ездил на этом коне?..» Она отвела Павлицева в сторону, стараясь глядеть на него строго.

— Послушайте... Тут, под перевалом, есть лошадка в виде подковы, пихтовый лес... Вы можете мне сказать, зачем вы ездили туда? Хотите, покажу по карте?

Павлицев поднял мизинец к кончику носа и опустил, забыв почесать.

— Bravo, bravo,— сказал он вполголоса.— Н... непостижимо, как вы об этой штуке дознались. Но если вы скажете, кто меня... выдал, я отвечу на любые ваши вопросы.

— Скажу,— небрежно вымолвила она, сняв варежку и ласково касаясь покрытой инеем морды иноходца,— если вы меня поразите, как я вас поразила.

Павлицев пожевал толстыми лошадиными губами.

— Слушаюсь, сударыня... Это я сделаю. Всенепременно.— Он кивнул, чтобы увели коня.— Наверно, вам будет интересно узнать, что Карачаев едет с целой свитой по вашим следам. В данный момент он, вероятно, беседует по душам с неки-им Любишкиным, вам известным!

Сердце у нее забилось.

— Это и должно меня поразить?

— О... минуточку терпения, отдохните с дороги...— ответил он любезно и зловеще.

Ей приготовили баню. Мылась она часа два, истратив бочку воды. Потом выпила ведро чая. А ночью, на пуховой перине, ей приснилось, что Иван Викентьевич убивает Карачаева. Убивает, будто бы приревновав ее к нему, на глазах у всех... Глупейший сон. Детские видения...

Утром Павлищев ждал ее. Сам заваривал чай.

— Вы желали посетить тайную молельню. Пойдемте, провозу.

Солнце только что взшло над перевалом. Село казалось безлюдным. Колокола молчали. Необычно молчалив был и Павлищев.

По узкому поперечному проулку они вышли на задворки. Каменистая тропа с зеленоватыми пятнами расплесканной заледевшей воды привела их к реке. Тишина. Река лениво шипела у ног, прозрачная до дна.

— Отменная погодка,— сказал Павлищев, сдвинув одним пальцем беличью шапку на ухо.— Пахнет оттепелью. Хотите на ту сторону?

— Там молельня?

— Возможно.

Река огибала крутой выступ горы, тот берег был отвесный, но девушка кивнула, не колеблясь, лишь спросив глазами: а как перейти?

— По камушкам,— ответил Павлищев в точности, как Карачаев у Иртыша,— как люди ходят...

Реку пересекала цепочка сухих, гладких, устойчивых камней.

Девушка прыгнула на первый камень, с него — на второй и остановилась, теряя равновесие, стараясь больше не глядеть на воду. Река, черная, как вар, неслась у ее ног с сокрушительной силой и уже не шипела, грохотала громово, оглушающе.

Голова кружилась. Широкий плоский камень под ногами казался пиком высокой башни. Немыслимо было ни стоять на этом острие, ни пойти дальше, ни вернуться. Хотелось сесть и вцепиться в камень руками.

— Не шевелитесь,— сказал Павлищев.— Придется вас перенести. Вы разрешите?

Она не ответила. Он шагнул к ней — раз, другой, и она хваталась за отвороты его полушубка.

— Ой... простите.

Он легко поднял ее на руки. И, напрягая голос, сказал отчетливо:

— Ну-с, вот... дорогая моя... Бросить вас сейчас в воду — унесет как щепу! Костей не соберете. И никто не заподозрит, не

обвинит! Оступилась — и баста. Несчастный случай. Вполне натуральная вещь...

Но в руках Павлицева ей было покойно, небо и горы перестали качаться, и она засмеялась ему в лицо, крича сквозь гром реки:

— Что вы, что вы, Иван Викентьевич! И думать не можете... Вам нельзя. У вас такое прошлое... Погубите себя безвозвратно.

— Пожалуй... Вы правы,— сказал он, тоскливо озираясь.— Ну, тогда я с вами заодно... Это еще натуральней. Минутное дело. И нет никакого прошлого. Нет ничего.

— Подождите! — сдавленно выговорила девушка, вдруг почувствовав, что он способен сейчас на все: может убить ее и себя.

— Извольте, подожду,— сказал Павлицев, подумав, и понес ее через реку.

На другом берегу они сели рядом, под обрывом, на солнце-пеке. Солнце било им в глаза. Девушка чинно сложила руки на коленях, чтобы скрыть свой испуг.

— Я полагаю, нам с вами пора говорить напрямик,— сказал Павлицев.

— Я это делала и прежде...

— Товарищ Коренева,— спросил ее бухгалтер раздраженно и нетерпеливо,— вас подослало ко мне ОГПУ, не так ли?

Она сняла с головы платок и поправила волосы на затылке дрожащей рукой.

— Вот тебе и на! Вы находите, что я похожа на чекистку?

— Не знаю, не знаю... По-моему, лучшего выбора Чека не могла бы сделать. Вы прирожденная разведчица.

— С чего вы это взяли?

— Видите ли, там, в лощинке, под перевалом, где пихтовый лес, уже ничего нет, но некогда было... Не бог весть что, маленькое оружейное депо. Один станковый, фирмы «Виккерс», образца восемнадцатого года, плюс всякая мелочишка. Пулемет цел, закопан на ригаче, у старшего Докутича, правда, без боезапаса.

— Что такое ригач? — негромко спросила она, со страхом глядя на реку, словно дремлющую у берега.

— Я понимаю вас,— проговорил Павлицев после недолгого молчания,— понимаю... Держитесь вы артистично. И все-таки есть минуты и положения, когда, знаете ли, надо отвечать откровенностью на откровенность и на пользу делу открыть все карты!

У девушки язык приклеился к небу.

— Иван Викентьевич,— сказала она с неожиданной решимостью и даже со скрытым юмором, как бы признавая, что в самом деле сейчас лучше в открытую.— Возможно, я виновата перед вами... Но если вы узнаете, как я развела про лощинку под перевалом... Короче говоря, меня послали в командировку из школьного класса, в котором я учу детей арифметике и родному языку.

— Не мож-жет быть!— затрудненно выговорил Павлицев и прикрыл длинными пальцами рот, словно собираясь кашлянуть или зевнуть.— Нонсенс! О. старый осел!

— Это я дурочка,— сказала она с горестным и смешливым вздохом,— и, наверно, не стою того, чтобы меня топили.. действительные тайные советники бандитских дел, как вас называет Карачаев. Выдал вас конь, на котором вы ездили туда, в депо...

Он протянул руку.

— Ущипните меня.

Она ущипнула, и он, глядя себе на руку, стал смеяться.

Но смеялся Павлицев чересчур долго. На секунду он затихал и снова принимался трястись и давиться смехом, уткнув лицо в ладони.

— Что с вами?

Он ответил:

— Уби-ить вас ма-ха-ха-ло...

И внимательно посмотрел ей в переносицу.

— Скажите лучше, кому вы проболтаетесь про меня — любовнику... или первому милиционеру?

Она встала и выгнулась, точно ее хлестнули по спине.

— Вы... Павлицев... не распускайтесь!

У него сильно дернулась щека. Он тоже встал, прямой, как столб.

— Вот эта манера мне больше нравится. Благодарю вас... По-видимому, я застрелюсь вскоре...— Он почесал ногтем нос.— А ригах — это место под ригой... Ну-с, я сказал все. Пойдемте. Мне кажется, нас уже ждет Карачаев.

Он опять перенес ее по камушкам через поток и быстро пошел по селу впереди нее. Снег визгливо хрустел под его сапогами.

Она смотрела ему в спину с невольным холодком и тревогой: «Застрелюсь вскоре...» И ей было неприятно то, что она испытывала: кажется, она жалела этого человека и опасалась за него, как за Мырзю...

Карачаев приехал на следующий день, в легких городских санках и без «свиты». Голова у него под шапкой была перевязана. Сквозь марлю надо лбом проступало коричневое пятно. Глаза — жгуче-черные, страшные, словно заgrimированные недосыпанием.

Павлицеву он сказал, едва сойдя с саней:

— Здорово, бухгалтер! У старшего Докутича изъят станковый пулемет, английский. До того расстроился куркуль, отстреливался... Двое наших ранено.

Павлицев поморщился.

— Даже пулемет! Скажите на милость.

— И вы... вы поскакали сюда... с такой головой,— сдавленным голосом проговорила девушка, забывая спросить главное: «Мырзя жив?»

— Это еще кто такой? — спросил Карачаев. Подошел и протянул ей руку.

Его ладонь показалась ей горячей, как свежеиспеченный хлеб. Он не выпускал ее руки, пока она сама не потянула ее, чтобы он вошел в избу. Это было их первое рукопожатие.

А войдя в избу, скидывая шубу и отряхивая пимы, Карачаев стал говорить учительнице арифметики без вступлений и особенностей, словно отчитываясь перед ней в чем-то заранее и всесторонне договоренном:

— Любишкин арестован. Пospel фруктик. Собирался улепетнуть в Синьцзян. Предлагал мне взятку золотом, шакал! Порядочно у него оказалось и монеты и камешков... Мырзя принят в партию.

— Уже! Так скоро?

— В самое времечко. Написал, между прочим, в заявлении черным по белому: «Прошу принять в ВКП(б), поскольку у них на ригаче закопанный пулемет». Чудо парень. Вот действительно золото! На обратном пути заедем к нему. Там вас ждут. И я согласен: Мырзя — как раз то, что нужно.

«Он согласен!» — с ликованием подумала девушка, пораженная тем, как Карачаев с ней говорил, и тем, что откровенно говорили его усталые и горячие глаза: «Да, видишь, поскакал, раненный в голову, чтобы увидеть тебя поскорей, раз ты сделала все, что обещала...»

Ей было радостно и совестно, очень совестно слушать его и смотреть ему в глаза, потому что он еще ничего не знал о ее позоре — о том, что она безумно влюблена. Именно безумно, бессмысленно и беспричинно, с той самой минуты, как он ей нагрубил и выказал свое презрение, с той минуты, как это заметил Павлицев, вторую неделю подряд!

— Так, значит, Крестная? — спросил Карачаев. — Ожержалась, комсомолка! Ну, рассказывай... сколько раз еще переходила Иртыш!

Он и не заметил, как стал говорить ей «ты», а у нее закружилась голова.

Сев верхом на табуретку, она показала в лицах, как воевала с иноходцем, умолчала только про вазелин...

Карачаев смеялся — глазами и скулами, но как беззвучно-заливисто, что нельзя было спокойно смотреть на его лицо. «Не надо так... разболится голова...» — молита она взглядом. Павлищев молча почесывал ногтем нос.

Ей было хорошо, как хорошо, что впору разрешиться. Это не могло кончиться благополучно.

Улучив минуту, она пошла в сени напиться.

Напилась, вынула из нагрудного кармана гимнастерки серебряные отцовские часы, послушала, как они звучно тикают, поцеловала и с силой стукнула их ребром по бревенчатой стене избы. Часы остановились. Она еще раз судорожно прижала их к губам и положила в карман.

Вернувшись в горницу, она с озабоченным видом протянула часы Карачаеву.

— Понять не могу, что с ними стряслось?

— Как — что стряслось? — удивился он. У него был острый слух на механизмы, и он ясно слышал безупречное гармоничное тиканье часов в кармане ее гимнастерки перед тем, как она пошла в сени. — Ты что, уронила их?

— Н-нет!

Тут же она поняла, что выдала себя.

Лицо Карачаева потемнело. Черные пятна из-под глаз расплылись по скулам. И стало видно, как ему худо; наверно, долгое было кровотечение из раны на голове.

Он сидел, она стояла, держа часы с открытой крышкой.

— У бухгалтера научилась, — сказал он ей скучливо, как говорил в Усть-Каменогорске.

И, не касаясь часов, пробежал глазами надпись, выгравированную на внутренней стороне верхней крышки: «Г-ну Кореневу Павлу Евгениевичу от коллег по Российскому императорскому математическому о-ву в М-ве, 1913». Угрюмо покачал головой. А она покраснела так, что на носу у нее выступили капельки пота.

Вот она и показала, чего она стоит.

Павлищев смотрел на нее сочувственно...

С громким щелчком она закрыла крышку и пошла из избы с глаз долой, пореветь где-нибудь в темном углу.

Карачаев догнал ее в сенях, остановил, повернул к себе. Насупился и поцеловал ее сперва в одну, потом в другую щеку. Судя по его сжатым губам, он был взбешен. Судя по глазам, восхищен.

— Бывает, что и часам больно... поняла? Ось маятника сломана. Где ее теперь достанешь?

— Я больше не буду... поверьте,— ответила она и, встав на носки, потянулась губами и тоже поцеловала его в небритую щеку.

Хотела коснуться пятна на его повязке, как вдруг он вскинул голову, прислушиваясь (что-то клацнуло металлическое), и кинулся в горницу огромными бесшумными прыжками, словно журавль перед тем, как взлететь.

Когда она вбежала следом, Карачаев и Павлицев стояли посреди горницы, друг против друга, неподвижно, бурные от натури. Карачаев держал Павлицева за запястье, и в правой полуоткрытой ладони бухгалтера висел черный браунинг.

Браунинг висел на кончиках пальцев. Но девушка не разглядела этого и закричала:

— Иван Викентьевич! Сейчас же! Бросьте!

Павлицев выронил пистолет, и она ногой толкнула его под стол.

Карачаев отпустил бухгалтера, поднял браунинг. Павлицев грузно опустился на табуретку у стола.

Поглядывая на него, Карачаев вынул обойму. В ней был один патрон!

— Это для кого же вы приберегли... последний?

Девушка подошла к Павлицеву.

— Он хотел застрелиться.

— Ты знала об этом?

— Он мне сам сказал.

— Вон что! — Карачаев подбросил на ладони разряженный браунинг.— Спектаклик-то, оказывается, с репетицией. По всем правилам искусства.

Павлицев усмехнулся одной стороной лица. Правая кисть его была скрючена, как будто обнимала невидимый шар. Павлицев положил ее на стол. Сказал вяло:

— Непонятно, как вы справились левой рукой с моей правой...

— А я левша. Вы запомнили?

— Ах, да, да, да...

«Неужели же это разыграно? — подумала девушка с неожиданным гневом.— Может, и пулемет на ригаче у старшего Докучича Павлицев выдал, уже зная, что пулемет нашли и взя-

ли... Ах, лиса! Значит, и отчаяние, и откровенность, и похвалы ей и Карачаеву — ложь, как у Жлюбишкина?»

— Черт же вас побери,— сказала она, сжимая маленькие кулачки.

Павлищев брезгливо пожевал губами и сказал Карачаеву:

— Ну, так вот-с... У Колчака я не был. Тем более — у Дутова или Унгерна, как вы изволите предполагать. И только вам, вам, Карачаев, я обязан идиотской репутацией головореза! Пусть я бывший, так сказать, старой веры, не отрицаю, но все-таки не пара Докутичам и уж отнюдь не комедиант... Я офицер, господа. Моя лошадь сломала спину, и этот единственный последний патрон, извините, мое неотъемлемое право.

Карачаев с недоумением посмотрел на девушку.

— Пойдите, пойдите,— сказал он,— это кому же вы говорите? Это перед ней вы распускаете хвост?

Павлищев злобно-раздраженно взглянул на Карачаева, на миг оскалив желтоватые лошадиные зубы.

— Да хоть бы и перед ней, сударь мой! Сего фортеля вам не понять... А меж тем ей вы мно-огим обязаны.

— Приятно слышать,— сказал Карачаев и сел против Павлищева, землисто-серый, без кровинки в лице. — А вы никогда не задумывались, господин офицер, кому вы о-обязаны тем, что так долго живете в здешних краях на свободе и разыгрываете вот эти свои спектакли? Вы никогда не слыхали, кто ручался головой, партийным билетом, что вы, бывший помещик и лошадиный идеолог, не поднимете оружия на Советскую власть... ручался, что в свое время придете с повинной и выдадите подпольные склады оружия? Об этих фортелях вы не подозреваете? Отвечайте!

— Те, те, те...— сказал Павлищев и погрозил Карачаеву двумя пальцами.— Это вы тоже для нее?

Карачаев утомленно оперся головой о ладонь, а Павлищев с шумом вскочил на ноги, отпихивая ногой табуретку.

— Не шутите, Карачаев! Это святые вещи.

— Надоел ты мне, бухгалтер,— медленно выговорил Карачаев.— Тебе должно быть известно, что подобного рода заступничество сейчас не особо поощряется: кулаки-то вон что творят! Ну, в общем, надоел... Докутич со станковым пулеметом тебя утопит все равно. На «этот патрон» ты права не имеешь. Иди, открывайся сам, пока не поздно. Иди... пробил твой час...

— Ге-оргий Ге-оргиевич...— невнятно, потерянно пробормотал Павлищев.— Но... это не согласуется... с вашей большевистской философией! Вы поплатитесь за меня...

Девушка вспыхнула.

— Что вы знаете о нашей философии? Как вы смеете судить!

— Погоди,— остановил ее Карачаев, пристально глядя на Павлицева.— Ну, чего ты еще хочешь? Говори.

— Слушайте, Карачаев... И вы, милая девочка... Больше молчать не могу, невыносимо. К вашему сведению: я... дядя Ваня. Да, я! Тот самый, который сбежал в прошлом году на Черный Иртыш. Как видите, не сбежал... Остался здесь, на родной земле. Это все знают, кроме вас.

Карачаев пододвинул к себе браунинг.

— Враки!

— Нет, правда. Но повторяю: на моей совести — ни одной загубленной души. Мои руки чисты.

— Вот за это — спа-сибо,— протяжно проговорил Карачаев.

— А на ком кровь — я покажу,— добавил Павлицев,— если пробил мой час... если в а м это нужно... Мне с Докутичами не по пути.

Девушка с гордостью смотрела на Карачаева.

«А я знала, я чувствовала все, все, все! Я знала все наперед еще в Усть-Каменогорске...» — думала она.

6

Мырзя, партийный

Ночевали впервые под одной крышей. Карачаев и Павлицев — у окон, в углах горницы, девушка — в глубине, за ситцевой занавеской. Когда задули лампу и горница осветилась лунными бликами, уснул один Карачаев. Он громко бредил. К полуночи луна зашла, стало совсем темно, и девушка решила, что Павлицев подозрительно тих. Она встала, натянула на себя бриджи и пошла к кровати Карачаева с разряженным браунингом в руке. Нащупала в изголовье табуретку и уселась, глядя в угол Павлицева. Печь напротив пышала жаром, но девушка дрожала всем телом, так боялась неспящего дядю Ваню...

Карачаев проснулся, едва она подошла, сказал хрипло:

— Не дури. У меня голова...

— Я буду тут... Простите,— сказала она.

Он поднял горячую руку и притянул ее голову к своему плечу. Сонно попросил:

— Убери эти...

Она вытащила шпильки, волосы рассыпались. Он взял их полной горстью и прижал к своему лицу. А она проговорила топорливо, положив ему на грудь руку с браунингом:

— Ваш друг сказал, что я его невеста.

— Какой друг? А!.. Он понимает, где золото, где руда.

Она улыбнулась, не шевеля губами, чтобы он не почувствовал, что она улыбается, и тотчас вскинула голову. Карачаев опять бредил. Она окликнула его, он не отозвался. Тогда она потихоньку влезла на кровать и легла рядом с ним поверх ватного одеяла. Приложила ладонь к его лбу под бинтом. Лоб был сух и горяч, бинт гладок и тверд от запекшейся крови.

Карачаев выговаривал невнятно:

— Вык... кырс... амб-блийск... флирма...

Она послушала и стала целовать его нежно, успокаивающе, как ребенка, в щеки и в колючий угол рта.

Карачаев очнулся, умолк, а она все целовала его в щеки, потом в глаза, не помня себя.

Он обнял ее, схватил за волосы, которые она откинула за спину. Ей было больно. Но она продолжала целовать его в глаза, только в глаза, запавшие от бессонных ночей.

Руки его ослабели. Он вздохнул, засыпая, и больше не просыпался и не бредил до утра.

Чуть забрезжило в окнах, она хотела уйти, он почувствовал это во сне и сжал в кулаках ее волосы.

— С п л и,— пробормотал он.— Я те... разб... жу...— И проснулся, совершенно свежий.

Вгляделся в ее лицо, словно не узнавая, нащупал браунинг в ее руке на своей груди, бриджи, подпоясанные мужским ремнем, босые ступни, холодные, как ледышки, и чертыхнулся, вытаскивая из-под нее одеяло и укрывая ее.

— Простите,— шептала она,— простите.

— Молчи, пожалуйста... Я дурак.— сказал он.— Но дуракам счастье. Здравствуй, что ли, Карачаева?

— Я не буду. Я не знаю,— отвечала она.

Павлищева в горнице не было. Когда луна зашла, он неслышно оделся, вышел вон и всю ночь бродил у реки, прощаясь с родными местами.

В город они отправились вместе, втроем, в одних санях. На сутки заехали к Маркелу Ефимовичу.

Выбирать председателя сошлось все село: и бабы, и старцы, и детишки. И предстал перед ними Мырзя уже не прежний — партийный.

Говорили о нем дружно, но разно. Одни вроде бы весело:

— Какой же он партийный? От такого партийного — ни страха, ни дела, ни проку, ни урона, ни вам, ни нам. Ино де-

ло — пастырь, ино дело — овца. Он и в попы негодный, не то что в партейные.

— Нешто нету кого помордастей, погорластей? Ни бороды, ни сапог на мужичке. Ни жены, ни свата. Таких молодцов на дюжину тринадцать. Пушай хоть подпоясется ремнем заместо бечевы... Штаны надень Хлюбишкины! И чтоб левольвертом помахивал. А то больно мы к тебе привыкшие, андел ты наш.

Другие говорили злее:

— Был он Мырзя... Запоматовать это пора. То-то и солоно, что таких на дюжину тринадцать. Ежели Маркел Ефимов — партейный, мы все — партейные!

Павлицев был на этом собрании. Сидел во втором ряду. И было услышано, что он буркнул себе в усы:

— Силен ваш бог. Так и царя мужик не чтил.

Карачаев ответил ему из-за стола, покрытого кумачом:

— Царь — помещик. А наш бог — рабочий человек

И небывалое дело: старообрядцы, недруги всего нового, раскольники веры христовой, презиравшие самого патриарха, с почтением выслушали такие богодерзкие слова.

Но самое памятное случилось затем. Поднялся Маркел Ефимович, бритый, мытый, с ног до головы новый. Постоял, крутя головой, поигрывая желваками, и заговорил с уполномоченным обкома робким голосом, словно бы с глазу на глаз:

— Вы давеча внушали: за тебя, мол, воюем. Почто же за меня? Иные располагают, что я гол, бос, сам вроде рабочего. Одного с вами звания. Так-то оно так, да не вовсе... У вас у самих есть в писании: одна, мол, у мужика душа — от бога, да при ней другая — от нечистой силы, и обе они одну телу гложут! Прости, господи, прегрешенье... И второй к вам вопрос: а с кем же вы теперя воюете? Выходит дело: за меня, мужика, и супротив меня, мужика... для моего же великого проку! К чему же, голубы, такая нужда-охота? Я и дальше того спрошу: долго ли плантуете воевать? На чем умиретесь? Дальше быдто и спрашивать некуда... Однако на все есть закон. Вона и у господа было: на который-то день сотворил твердь, на который — живность, и притом день седьмой! День седьмой — он быть должен при каждой власти не для духовности, для закона — через закон, мил друг, не перескочишь... А я вам, товарищ полномочный, по дурости своей и то напоmung — вы сами же и раззвонили нам в урок, что у вас всяко бывало. К примеру, как вы того нэпа по темечку погладили, ровно бы пай-дитя, обобрали до нитки, враз — и к ногтю, даже пару единую ихнего братца на разживу не оставили в нашем-то нонешнем ковчеге.

— Нэпман не мужик, — перебил, Карачаев.

— Ясно-понятно: без мужика жизни нет. Али не так?

— Велишь отвечать?

Маркел посветлел от улыбки.

— Кой толк мне спрашивать, ежели вам отвечать? Ежли я перед всем миром не отвечу! Дозвольте объяснить. Не хотел я обещаться на миру. Уж мы в долгу, как в шелку...— Маркел поднял палец с мозолями.— Но я хозяев рушить не стану.

Карачаев откинулся на стуле, единственном в селе, и шутиливо почесал затылок.

— Это кого же — Докутичей, что ли?

— Докутич — мироед. А мир — хозяйва. Их гнать в лес, отучать от земли — нет моего желанья.

— Ну, это как партия скажет. Умей слушать, Ефимыч,— сдержанно заметил Карачаев, думая о том, что, по чести говоря, сейчас ему всего интересней и нужней послушать человека, который был и перестал быть Мырзей.

Маркел приложил руки к груди.

— А я не отрекаюсь: я и скажу... Коли народ признал, что я есть партийный, я и скажу. Глух никогда не был. Ударите в колокола, услышу.

Тут из задних рядов словно бы потек к красному столу такой ли вальяжный, такой ли добросердный голос:

— Эх, голова. А ты ишо не партия — говорить... Партия-то она рабочая. Вот чего смекай да помни.

— Это я създетства помню и помнить не перестану! — ответил Маркел.

Павлищев заворочался и замычал на своей скамье, слушая слова, похожие на клятвенный зарок. Но Карачаев был темен лицом, будто недоволен.

— Не ошибемся мы с тобой? Не напутаем, товарищ Ефимов?

— Ошибся тот Хлюбишкин. А и дядя Ваня выпутывается... Вон Боровых из «Ордена Красного Знамени» приманивает своих к дому, бандитов-то. Я как Боровых. Я не ближе его, дальше пойду, хотя холостой, бездетный...

— Куда же дальше? Непонятно,— сказал Карачаев, вынув из берестяного коробка городскую гладкую папиросу и прикуривая ее от керсиновой лампы.

— Неужели вы не поймете, что я понял? Нас еще Крестная воумляла, что земля мужику не от бога, от власти дана. Зачем дана? Разорять? Земле гулять в девках грех, ей родить по закону. А мы? Охальничаем над ней... Навоевались мы, товарищ полномочный. Неможно больше!

Карачаев пристально посмотрел на Анну, сидевшую рядом, за столом, и сердце ее сжала боль — и за него и за милого Мырзю. В ту минуту Мырзя казался ей чем-то вроде Конька-Горбунка, у которого в ухе спрятаны чудеса.

Карачаев покосился на Павлицева: тот ответил немигающим взглядом. Дядя Ваня боялся за Левшу... Считал, видимо, что сейчас уполномоченному обкома туго!

Тогда Георгий, навалиясь грудью на красный стол, спросил Маркела Ефимова, а с ним людей, немо глядевших из темноватой глубины избы:

— Ты чего хочешь, брат?

— Хлебушка! Колхоз не к тому, чтобы его меньше, а чтобы больше было...

— И чтобы кулака не было! Ныне и присно.

— Кулак хлеб гноит. За это господь карает.

— Хозяин будет один,— сказал Карачаев твердо,— колхоз. Вот чего партия хочет.

— И я хочу,— перебил Маркел.— Чтобы не кулак, не батрак, но — хозяин... За то я и партейный. Али не за то?

Карачаев задумался, не отвечая, часто и нервно потягивая папиросу. Никто больше в избе не курил. На лбу Георгия ниже повязки выступили капельки пота. Докурив, он встал и подержал себя за мочку уха, глядя на Мырзю.

— Стало быть, рабочий... да не вовсе?

— Не вовсе...

— Умней ты меня, Маркел Ефимович. Воумлять тебя, как ты говоришь, нет моего желания. Не скрою, это не вовсе понравится Витгогову, который подписывал мой мандат. Но я тебе не помеха. Отвечай! Это нужно, чтобы ты отвечал. И я так думаю... Да, партия у нас рабочая, товарищи мужики. Что это значит? То, что мы живем, чтобы работать. Нет, не воевать, Маркел Ефимович. Воюем не по доброй воле, по злой нужде. Мужик это знает. Потому и был с нами во всех войнах и во всех трудах, аминь.

Говорил Георгий спокойно, хорошо. Потом голосовали за Мырзю. И, может быть, одна Анна изумилась и расстроилась, почувствовав в словах Георгия необъяснимую тревогу, а во всем разговоре в ту памятную ночь еще непонятный ей, сокровенный смысл.

7

Сладка генеральша

Приехав в Усть-Каменогорск, Павлицев пошел в районное ОГПУ.

Стало известно, что в Семипалатинск будет ходить раз в неделю автобус — великая роскошь тех дней. Всего десять часов пути!

Анну устроили в автобус. Туда же ввели Павлицева под конвоем.

Карачаев не провожал ее, он лежал в больнице со швами на голове, но в ушах Анны звучал его голос.

— Так ты вернешься? Не застрянешь? («Если дадут командировочные и подъемные...») Говори честно: ты чья? («Я крепостная девка графа Шереметева».) Врешь. Не так. («Наложница из гарема Карачаева».) Вот так.

В автобусе не сохранилось ни одного кожаного сиденья, ни одного целого стекла. Сидели на досках. И в дороге так дуло со всех сторон, что Анна не раз припомнила удобства обоза, веретёе и армяки, которыми ее укрывали возчики, тишину и безветрие.

Подъезжая к Семипалатинску, Павлицев сказал:

— Ну, хоть вы с Карачаевым будете поминать меня добром. Если б не я... ваши отношения сложились бы менее благоприятно.

Она не ответила ему. Ее сильно знобило.

Сошла она с автобуса уже с температурой за тридцать девять, ночью бредила, а назавтра или послезавтра попала в больницу с крупозным воспалением легких.

В больнице ее отыскал Небыл, бесстрашный геолог. Дней десять она его не узнавала в горячечном бреду. И лишь позднее нянечки ей рассказали, кто не спал ночей у ее постели, доставал лекарства, легкую еду, кто ее отпоил молоком, выходил, как мать ребенка.

Добрый, верный Янка. Он нашел ее вовремя. Он опоздал.

В день, когда больничный врач сказал ей, что жить она будет, а бегать «по Сибири» без калош — нет, на одни сутки примчался Георгий, обругал Небыла, должно быть, за то, что тот молчал о ее болезни, и сказал, что едет учиться в Москву и берет Анну с собой.

Их не отпускали до поздней осени, а осенью, когда она плыла вниз по Ульбе на плоскодонном дощанике, Павлицева судил военный трибунал и дал ему два года условно, то есть, по сути, оправдал, а Карачаев вдруг получил от бюро обкома строгача, как сам он говорил, по совокупности — за дядю Ваню и за Мырзю (сняли выговор уже в Москве).

Перед отъездом в столицу Георгий повез жену в Риддерск, к своим родителям. Наверно, это было ошибкой. Не следовало ездить в Риддерск до рождения сына. Невестка не пришлась к отчему дому, невзлюбили ее ни отец, ни мать.

По преданию, род Карачаевых происходил из уральских казаков, кои, может, еще с Ермаком ходили на хана Кучума или с Дежневым в морской пролив между Старым и Новым светом,

названный позднее Беринговым. Но прадед Георгия Гордей полжизни отмучился в царской каторге за политику и, как износил полдюжины рудничных тачек, снял кандалную робу и оженился, так и остался рабочим, горняком.

Спокон веку в роду Карачаевых все наперечет были рослыми — не деньгой, не саном, силой богаты и знамениты. Женились на своих, из рабочего сословия, на приданое не зарились. Была бы бабочка работница, не жирна, не тоща, не ленива, и рожала бы Карачаевых! Георгий первый привел в дом маленькую и — каждому выдать — барышню.

Привел чужую, истинно, что куклу, не жену. Что с нее проку? Ни старших уважить, ни мужа уладить. Родит заморыша. Заведет свои порядки. И сломит карачаевскую силу. Чем сломит? Да тем хотя бы, что она генеральская дочь!

Так отец Георгия порешил, как только услышал, что она Коренева. Георгию Касьяновичу был известен семиреченский генерал Коренев, николашкин и колчаковский верный пес. Еще в 1916 году он туркестанцев давил, гнал по этапу, а весной девятнадцатого года вешал без суда и следствия красных, жег сибирские села. Звали его Ипполит Стратонович, прозвище имел — Спалит Страховович. Дочка была вылитая Коренева! Стало быть, из тех, кои Гордея судили, в железы ковали.

Тщетно горячился Георгий. Тщетно показывал отцу часы Павла Евгеньевича с дарственной надписью. Георгий Касьянович только кривился в ответ: увертки, уловки, фальшь. Дочка Спалита Страхововича спасала свою белую кость, голубую кровь, а Карачаев, дурень, ей подсоблял. Оба лукавили. Услышав, что Павел Евгеньевич служил в Красной Армии и расстрелян дутовцами, Георгий Касьянович перестал разговаривать с сыном. Плети, да не заплетайся, мажь, да не примазывайся! Нет, не зря, выдать, всыпали Георгию по партийной линии...

Дед Касьян вступился за молодых, напомнил, что мать его пошла замуж за каторжника уводом — из семьи богатеев прасолов. Но и дед не примирил отца с сыном.

Оба были обижены кровно.

Георгий увез жену с первым поездом. На прощание почеломкались. Но к Анне ни мать, ни пять сестер Георгия не посмели подойти. Только дед Касьян обнял ее, поцеловал трижды и сказал:

— Ах, сладка генеральша... Не робей, Павловна! Рожай почаще... Вишь, у него одни дочери. Что его и бесит. Есть у тебя прибавка-то?

Анна опустила голову, покусывая губы.

— Назовешь Серегой,— сказал Касьян.

В Москву Георгий и Анна ехали уже по Турксибу. Их попутчиком оказался крепкий плотный человек с орденом Красного Знамени на гимнастерке. У него было румяное лицо, потемневшее от зимних ветров Семиречья, на кипучем Талгаре, под стенами Заилийского Алатау, и полоска незагорелой кожи надо лбом, точно лента марли,— он носил кубанку. С этим человеком Карачаевы познакомились еще весной заочно, читая его корреспонденции «с фронта» в казахстанской газете «Советская степь». Он писал так: «Мы все самоучки-коллективисты. Отсюда: замазывание ошибок, похожее на заклеюку гноящейся раны пластырем телесного цвета». Год спустя вышла его книга «Село за туманами» — одна из первых о войне с кулаком. Словом, это был Матэ Залка...

Неповторимая краткая юность! Завидное дело, сладкая охота — перейти Иртыш!

Где ты теперь, Маркел Ефимович? Какая у тебя ныне должность? Прежняя ли — при хлебушке? И скажешь ли ты сегодня: рабочий да не вовсе, навоевались — неможно больше?

Давно это было... Далеко это было... И правда ли было?

О Г Л А В Л Е Н И Е

1. Ночевать под шапкой	3
2. Действительный тайный советник бандитских дел	9
3. Из лесу вышел, в колхоз взошел	17
4. Хлюбишкин, красная борода	22
5. Что согласуется с большевистской философией?	32
6. Мырзя, партийный	40
7. Сладка генеральша	44

Рисунки П. Караченцова

Алексей Наумович Пантиелев
ПЕРЕИТИ ИРТЫШ

Редактор — **П. А. КРАВЧЕНКО.**

Технический редактор — Я. М. Борисов.

Сдано в набор 8/XII 1970 г. А 00508. Подписано к печати 27/I 1971 г.
Формат бум. 70×108¹/₃₂. Объем 2,10 условн. печ. л. 2,80 учетно-изд. л.
Тираж 100 000. Изд. № 280. Зак. № 3499.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
Москва, А-47, ГСП, ул. «Правды», 24.

**Гос
Страх**

**Договоры
страхования
от
несчастных
случаев**

заключаются с гражданами в возрасте от 16 до 70 лет сроком от 1 года до 5 лет на различные страховые суммы.

● ПО ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ Госстрах выплачивает страховые суммы за последствия несчастного случая, происшедшего на работе или в быту, самому застрахованному или лицу, указанному в страховом свидетельстве.

● СТРАХОВОЙ ВЗНОС невелик и уплачивается за весь срок вперед. Размер его устанавливается в зависимости от профессии страхователя и рода производства, где он работает.

● УПЛАТИТЬ СТРАХОВОЙ ВЗНОС можно путем безналичного расчета. Для этого достаточно дать агенту Госстраха письменное поручение о разовом перечислении страхового взноса из причитающейся заработной платы.

Для более подробного ознакомления с условиями страхования и заключения договора обращайтесь к агенту Госстраха, обслуживающему Ваш коллектив.

Главное управление государственного страхования РСФСР